



Время, творчество, долг

Родился я в курной избе холодной осенью, в едком дыму. Помню себя очень маленьким, как спал в тепло натопленной избе на нарах-полатах, которые обыкновенно пристраивались, как второй этаж, к потолку. Осенними и зимними вечерами отец рассказывал мне предания «старины глубокой». Он был неграмотным, считал себя исключительно темным и несчастным человеком; русского языка не знал, но свой язык знал превосходно и тонко. К сожалению, я в этом убедился слишком поздно, когда мое имя стало достаточно известным в чувашской литературе, а отец находился в объятиях матери-земли.

Ушел я из родного дома в четырнадцать лет, находился на учебе и работе, встречи с отцом бывали редки и коротки. И сейчас, когда волосы наполовину покрылись седinou, перед тем как сесть за рабочий стол, закрываю глаза и стараюсь вспомнить его сочные выражения и образы и вообще тот язык, на котором разговаривал отец, мой первый учитель. В годы своего серьезного творчества я больше всего жил и живу в деревне, в гуще народа, но редко встречаю человека, который разговаривает по-чувашски так плавно и чисто, как мой отец. Он часто и не без гордости вспоминал, что Константин Иванов, его близкий родственник, приезжая из Симбирска, считал своим долгом встретиться и не спеша побеседовать с ним. В юности я не придавал этому большого значения. Но позже, работая над монографией о жизни и творчестве Константина Иванова, особенно при исследовании его языка, пришел к выводу, что поэт, тончайший знаток чувашского языка, имел основательные доводы вести непринужденные разговоры с пахарем в самотканой одежде и лаптях. Отец, человек глубоко пантеистической души, учил меня с детства мыслить поэтически, значит, страстно любить свой язык, а позже, в Москве, мне выпало счастье учиться языковым законам на лекциях академика В. В. Виноградова.

Отец не пел песен и не рассказывал ска-

зок. Это делала мать. В далекие годы осенью и зимой мы, подросшие дети, вечерами по очереди дежурили у треноги-светца, меняя в нем лучину за лучиной по мере их сгорания. Если в поэзию Александра Твардовского вложены искры и звон наковальни отцовской кузницы, то для меня чувашская курная изба в овраге, затерянном где-то в уральских горах, была не менее творческим семинаром, чем поэтический семинар в Литературном институте на Тверском бульваре.

Для шестерых детей надо было иметь много конопляных, льняных и шерстяных ниток, а сестры мои были малы. Мать под жужжание веретена рассказывала нам сказки, порою одну и ту же в течение двух-трех ночей. Рассказывала не просто, а сопровождала песнями героинь. Причем она пела не только по-чувашски, но и на татарском и башкирском языках, которыми владела неплохо. Позднее, работая научным сотрудником Башкирского научно-исследовательского института языка и литературы, я убедился, что многие сказки, сопровождаемые пением, были отрывками из башкирского эпоса. Отголоски этого эпоса, перешедшие в чувашскую народную поэзию в том или ином измененном виде, могли быть сущим кладом для исследовательской работы, но я понадеялся на свою память и сказки матери по молодости лет не записал.

Ранней весной, как только с крыш начинали свисать желтые гирлянды сосулек, в курной избе становилось тесно, хмуро и сыро. Когда утром дети слезали с печки и полатей, не всем хватало места сесть. В избе прыгали кудрявые ягнята, мычал тонконогой теленок. И на воле, где пробивалась зеленая трава, не было торжества народной радости. На кольях заборов и плетней торчали пожелтевшие лошадиные черепа как символы языческой веры, якобы оберегающие народ от бед, а скот от мора. По улицам, как призраки, тыкая перед собой посохом, ходили слепые от трахомы мужики и бабы. Как ни страшны и как ни печаль-

деревне. Сами немного знали социальную природу тогдашней деревни по газетным корреспонденциям и рисункам, по кратковременным творческим командировкам. Послушали звон бубенчиков почтовых ямщиков и, вернувшись в московские квартиры, без устали строчили произведения, в которых весной одновременно цвели и черемуха, и гречиха, и картофель, а в августе в садах пели соловьи, колхозники в прудах разводили и карасей, и окуней, и щук. Поэма Твардовского, утвердившая в поэзии принципы социалистического реализма в показе подлинной колхозной деревни, одновременно была и острым критическим памфлетом, направленным против таких маляро-лакировочных книг. Она стала этапным произведением советской поэзии, была с одинаковым чувством восторга принята писателями разных вкусов и направлений — Александром Фадеевым, Николаем Асеевым, Борисом Пастернаком, Верой Инбер, Корнеем Чуковским.

Для меня поэма явилась открытием широкого мира образов советского крестьянства. Она подтвердила, что мой путь, найденный в процессе изучения чувашского народного творчества, имеет право на существование вопреки протесту некоторых критиков и редакторов. Можно было попасть под соблазнительное влияние Твардовского, но уже было поздно. Герой моего стихотворного романа Калля не собирался выезжать в дальние края, а упрямо решил на своей исконно родной земле остаться единоличником, щепкой в колхозном море и, приняв совет языческой религии, темной ночью с косарем в руках обошел вокруг избы, шепча молитву, свершил железный магический круг, чтоб никакой колхозный дух не проник в его единоличный дом.

...Познакомился я с Твардовским в трудное для меня время—после автомобильной катастрофы был изувечен. На костылях появился в Москве и нашел приют в Малеевском доме отдыха писателей. После долгой изнурительной бессонницы, в тихой комнате, убранный коврами, как потом сообщили мне, я спал подряд восемнадцать часов. Проснулся от стука в дверь.

— Жив? — спросил голос.

— Пока не умер. — Я открыл дверь.

— Твардовский, — сказал он и легко пожал мою руку, как бы остерегаясь причинить боль.

Оказывается, работники дома отдыха, обеспокоенные моим подозрительно долгим молчанием, не раз и не два подходили к комнате и сочли удобным, если Твардовский, как поэт, разбудит поэта. Буквально через полчаса, когда мы с Александром Трифоновичем поужинали за одним столом, я перестал чувствовать боль в ногах, а в душу вернулся юмор.

С Твардовским мы подолгу и часто ходили окрестностями Старой Рузы, и я убедился, что по-настоящему талантливый человек, как и следовало ожидать, был по

отношению к другим сердечным и отзывчивым. После того как я бросил костыли, жил в Голицине. Александр Трифонович и его жена Мария Ларионовна тепло и по-родному принимали меня в своей тесной комнате в Большом Могильцевском переулке, заботились о моем здоровье и даже о питании. Часто, отрываясь от своей творческой работы и учебы в историко-филологическом институте имени Чернышевского, Александр Трифонович, как брат, помогал мне во всем.

Весной 1938 года я вернулся в Чебоксары, работал выездным корреспондентом республиканской газеты, а осенью поехал в Ульяновск, где в Чувашском педагогическом училище преподавал чувашский язык и литературу. В Симбирске еще в 1868 году известным просветителем И. Я. Яковлевым с помощью прогрессивной русской интеллигенции, особенно И. Н. Ульянова, отца Владимира Ильича, была открыта чувашская учительская школа, сыгравшая великую роль в истории чувашского народа, воспитавшая в годы царизма армию народных учителей. С 1 июля 1917 года школа стала семинарией. Из этой семинарии вышли первые поэты и писатели, художники и композиторы. Хотя мне на параллельных курсах и заочных семинарах иногда приходилось вести по двенадцати уроков в день, я находил время рыться в архивах и библиотеках, встречался со старожилами города и особенно внимательно слушал рассказы старика пенсioniера Кузнецова, который учился в гимназии на одном курсе с Владимиром Ильичем. Я собирал материалы о многолетних дружеских связях чувашской интеллигенции с семьей Ульяновых и написал поэму о Никифоре Охотникове. Охотников был феноменально одаренным человеком, он только четырнадцать лет взял в руки букварь, поступил в Симбирскую чувашскую школу, которую окончил блестяще, и остался преподавателем в той же школе. С помощью гимназиста Владимира Ульянова сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости в классической дворянской гимназии и поступил в Казанский университет. В университете Охотников проявил свои способности, был незаурядным математиком и написал несколько блестящих этнографических очерков о чувашах, но в расцвете литературных и научных сил умер, не успев окончить физико-математического факультета.

Как только началась Отечественная война, я пошел в отряд народного ополчения, учился бросать деревянные гранаты и колоть деревянными штыками снапы, был курсантом учебного батальона, а затем сотрудником газеты «Родина зовет».

Корреспондентская работа на передовой линии красноармейской печати была нелегка. Дивизионные газетчики подвергались тем же опасностям, что и солдаты. Секретарь нашей редакции Аркадий Правдин погиб в ночном бою с немецкими автоматчиками, а молодой и способный поэт Алек-

сандр Паршин в разведке за «языком» погиб, не успев напечатать ни одного своего стихотворения. При неизвестных мне обстоятельствах, когда я был переведен в редакцию армейской газеты, сложил свою голову и редактор Алексей Федулов. Навсегда остались в памяти чувство дружбы, спаянность, взаимная выручка танкистов прославленного Кантемировского гвардейского корпуса, где я был сотрудником редакции «На штурм врага».

Прошел путь до Праги, демобилизовался летом 1946 года. Работал редактором Чувашгиза до 1949 года. После двадцати лет с той поры, когда в печати появилось мое первое стихотворение, пришлось приступить к серьезной ревизии того, что написано и издано. Освободившись от служебных обязанностей, закончил наконец роман в стихах «Перевал» и поэму «Дед Кельбук», которые были задуманы давно и писались долго в виде отрывков и глав. Эти книги в 1952—1954 годах были изданы и в Москве. И, если судить по отзывам печати, имели успех у русских читателей, воспитанных на строгих традициях большой русской литературы. В этом заслуга серьезных и талантливых переводчиков Павла Дружинина, Бориса Иренина, Николая Чуковского и Льва Пеньковского.

Мне с детства хотелось видеть и знать многое. А позже, когда посчастливилось получить образование и полюбить, как верных друзей, книги, появилось у меня страстное желание самому стать создателем книг. Переезжал из одного города в другой, долго жил в деревнях, не имел ни постоянного угла, ни комнаты, ни квартиры, был по горло занят корреспондентской, педагогической и другой какой-нибудь работой. Упорное желание создавать большие книги долгое время оставалось только добрым желанием. Но я приступил к осуществлению своих давних замыслов и, как начинающий писатель, открыл свой творче-

ский мир. Пробуя прочность и гибкость сил, писал и лирические стихи, и поэмы, и трагедии, и роман в стихах. Переходил от истории к современности и от современности к истории.

В последнее десятилетие я завершил «Агашкуль» — большой роман в стихах о послевоенной колхозной деревне — и трагедию по мотивам поэмы Константина Иванова «Нарспи», издал поэму «Земля», которая является по замыслу первой книгой уральской эпопеи, охватывающей события гражданской войны, участие в ней многих национальностей — чувашей, татар, башкир, русских.

Поскольку земля была и остается моей главной темой, я часто выступаю в печати со статьями по вопросам правильного землепользования с точки зрения не только современного научного земледелия, но и с учетом народного земледелия, накопившего в себе с древнейших времен много поучительного.

Пишу иногда и злые статьи против сорняков, когда они своей поэтической цветистостью заглушают поля. Воспевают эти сорняки нерадивые поэты и писатели, одновременно они же приносят большой вред полям чувашской литературы, засевая их зернами смысловых и словесных сорняков.

Предпочитаю жить среди тех, о ком пишу, жить среди родной чувашской природы. И тогда мне хорошо воспевать благодатный дождь в дождливый день, любить писать о буране в буранную ночь, когда в трубе воеет ветер, как бы подсказывая мне ритм стиха.

И сейчас, когда пишется эти строки, над высокими вершинами сосен восходит солнце, в настезь открытое окно врывается голос кукушки, которая кукует недалеко. Она, видимо, немного устала и, медленно произнеся последнее «ку», замолкла, поставила точку, окончив свое утреннее вдохновение. И мне пора поставить точку.

ны были картины родной мне чувашской деревни, я свое рождение считаю своевременным и удачным, а детство — без кавычек золотым.

Как только поля начинали высыхать, наступало торжество вечно молодой природы. И тогда отец с моим старшим братом Прокопием выезжали на пашню, брали меня с собой. По вечерам я сидел у костра, мысленно молился звезде, которая была ярче всех, семь раз повторяя давно заученную молитву, просил мне прислать на землю счастье, научиться писать и стать секретарем сельского Совета. А днем ходил по тем местам, где лет сто назад бродил С. Т. Аксаков и описал их в «Записках об уженье рыбы» и других своих произведениях.

Мои предки обитали на чудесной в природном отношении башкирской земле, в ее лесостепной части. Они бежали сюда с берегов Волги, спасаясь от притеснений, свирепых преследований за участие в бунтах. Появление на башкирской земле бунтарей-язычников, придерживавшихся культов бога плодородия Пихамбара и бога зла Киремети, немного позже повлекло за собой массовое переселение чувашей из-за обнищания и голода на чувашской земле, где, как свидетельствуют архивные документы, пища из древесной коры и различных трав считалась справедливым божьим даром.

Став достаточно сильной компактной массой, чувашаи между реками Демой и Иком основали город Белебей. Но те судьбы, которые преследовали их на своей древней земле, проникли и в глубь темных лесов. По тропам пришли купцы и чиновники, а за ними попы. Во имя православия и самодержавия они построили деревянную церковь, а чувашаи ее сожгли. Когда же на пепле выросла новая, на этот раз каменная, когда солдаты вырубали священные рощи, где чувашаи молились богу отцу-небу и богине матери-земле, разъяренные основатели города не могли справиться с крепким зданием церкви, но выбросили в овраг ненавистные иконы. Указом царицы Елизаветы Петровны чувашей выселили из города.

Один из белебеевских бунтарей-язычников обосновался в глухом лесу на берегу реки Слак, он получил прозвище Кашкар, значит Волк, за то, что охотился на волков. Впрочем, Волк — это могло быть и его собственным именем. Чувашские языческие имена обыкновенно происходили от названий деревьев, зверей, птиц. Эта древняя традиция упорно сохранялась и в то время, когда чувашаи приняли христианство. Скажем, человеку дали имя Семен, но он имел одновременно и языческое имя, например, Курак — Грач. В народе существовало мнение, что та или иная болезнь, посланная богом за какие-то грехи тяжкие, будет искать жертву по русскому имени Семен. Но несчастье его не найдет: Семен в народе носит имя Грач. Стараясь сохранить здоровье своих детей, чувашаи вели, на их взгляд, хитрую дипломатическую игру между рус-

ским богом и своими богами, которых в их лифологии было много, разделялись они на добрых и злых.

Белебеевский бунтарь Кашкар, как утверждает легенда, в борьбе за сохранение своего рода оказался удачником. Там, где он ставил капканы на звериных тропах, в течение века выросло большое чувашское село, способное сохранить свой язык, древние нравы и обычаи в многоязычном окружении русских, татар, башкир. Взаимоотношения между иноплеменными деревнями были мирные. Но иногда — не без влечения баев, исламитов, царских чиновников и попов — бывали трагические бои местного значения, в которых в качестве оружия применялись оглобли и дубины.

Наше село Слакбаш получило известность в чувашском народе тем, что его уроженцем является поэт Константин Иванов, основоположник чувашской литературы и чувашского литературного языка. Гибкий и богатый слакбашский диалект, сохранившийся и развившийся в сложной и жесткой борьбе, сыграл свою счастливую роль в оформлении чувашского литературного языка.

Наш род, начатый крещеным чувашом Иваном и его некрещеной женой Прта, гордился своими крупными богачами, увертливыми грамотеями-писарями, но не имел своих молитвенных урочищ, своих богов и боженят. Видимо, сильные не нуждались в божественной помощи. Мой дед был состоятельным, но отец разорился после трех пожаров, возникших от гроз, что часто случается на Урале.

На земле для меня радостей было вдоволь. Я самодельным отточенным крючком на реках Сильби и Чибикаран, где вода и в горячий солнечный день была студена и прозрачна, как журавлиные глазки, ловил проворных пескарей и пестрых, в красных пятнах, форелей; с трепетом в сердце слушал воркование горлянок. Как и все односельчане, мой отец старался закончить полевые работы к сроку — к четвергу перед праздником весны. Накопив на теле слой грязи и коросты, мы приезжали домой в четверг, чтобы в пятницу встретить весенний праздник семик и праздновать его всю неделю, до следующей пятницы.

Каждая пятница для чуваша, хотя крещеного, но крепкого приверженца языческой веры, считалась священной. В пятницу нельзя было прикасаться ни к какой работе, даже бревно, лежащее поперек дороги, нельзя было повернуть вдоль пути. Неделя семика между двумя пятницами была большим праздником: справлялись свадьбы, шли пиры горой, парни и девушки пели и плясали на игрищах. Конец празднику, и все замолкло. В этот момент получалось глубоко поэтическое совпадение, как будто бы кукушка жила интересами народа: как только отшумел семик, замолк народ и кукушка перестала куковать. Это значило, что закончены полевые работы, а у птиц появились птенцы. С семика старики запрещали моло-

дежи петь и плясать, запрещали даже бросать на землю палку: не разрешалось будить и тревожить мать-землю, беременную зернами будущего урожая, и нельзя было тревожить птиц и зверей, занятых великими и добрыми трудами — кормлением своих детенышей.

Мое детство пришлось на годы, когда социальный мир был взорван и разделен на два враждебных лагеря. Мне шел шестой год. Крестьяне нашего села и окрестных деревень осенью 1917 года захватили имение помещика Пестрова, конфисковали богатые земельные владения министра царского правительства графа Дурново, разгромили крупный Куроедовский спиртзавод.

Взорванный надвое социальный мир был отмечен и моими горькими детскими слезами в память о павших за свободу. Однажды, когда, вдвоём накатавшись с горы, я возвращался домой и озябшими руками тянул салазки, в вечерней тишине раздались винтовочные выстрелы. Я уткнулся носом в снег. От станции Глуховской с гиком и свистом налетели на конях оренбургские казаки-духовцы и на моих глазах, направо и налево махая саблями, на улице стали рубить молодых красноармейцев-разведчиков. В пору гражданской войны, осенью и зимой 1918—1919 годов, часто проходили жестокие бои между красными и белыми. Красные воины, обутые в лапти, с львиной храбростью дрались против отборных офицерских частей Колчака, щедро откормленных, щегольски одетых и до зубов вооруженных Антантой. К сожалению и огорчению бедного люда, эти кровопролитные схватки кончались отступлениями красных отрядов. Над нашим селом свистела шрапнель. Был момент, когда мы всей семьей сидели в погребе. Бредил отец, заболевший тифом, снарядом разворотило угол нашей избышки.

В этих жизненных эпизодах, загоняющих детскую душу в пятки и вызывающих от страха судороги, были и минутное веселье, и комические сцены. Как-то во время сильной перестрелки спустился к нам в погреб соседка и, клянясь богом Пюлехом, уверяла, что ей война совсем не страшна, что она имеет крепкую защиту от шальных пуль. И в знак того, что это правда, пальцем постукала в темноте по сосуду, который был надет на ее голову. Такой сосуд делается чувшами из липы и имеет форму ведра. Слово рыцарский шлем, она снова надела липовую посуду на голову и ушла домой, хотя бой гремел совсем близко.

Наконец наступил май 1919 года. Через наше село шли части легендарной Пятой Армии, шли, как выразился Фурманов, к красавице Уфе.

Моя родная земля, пропитанная вековым народным горем, соленым потом, горячими слезами и святой кровью, дорога и любима для меня с детства, и любовь к ней стала темой моих стихов и поэм. В детстве на этой

земле я молился звездам — счастье, нашел его и остался в долгу перед ней — в творческом долгу, и, значит, мне про землю стоит говорить.

В нашем селе, имеющем около пятисот дворов, еще до революции была двухклассная школа. Дети состоятельных крестьян учились тут, затем уезжали учиться в Симбирск и Белебей. Но люди в большинстве своем были неграмотны. Плевки знахаря на воду, подаваемую больным, считали медициной, круженье вороны над селом — предвестником неминуемой беды. А ласточку, когда она залетала в избу, ловили, мазали ее головку сливочным маслом и ждали часа, когда пожалует к ним счастье. По их поверьям, боги и черти жили везде: в подполе и роднике, в бане и под корнями вяза, одиноко стоящего в поле.

Прошло немного времени, как уральская земля очистилась от колчаковщины и началась новая, неведомая жизнь. Большое каменное здание, где раньше был склад пуща, стал, как тогда называли, народным домом, там ставили пьесы чувашских драматургов и русские пьесы, переведенные студентами Уфимского чувашского педтехникума. Слово «спектакль» тогда не удалось получить широкого распространения. Имея много согласных звуков, непривычным строю чувашского языка, оно было тяжелым для произношения. Постановки назывались чертовыми игрищами. Они вызывали негодование стариков и старух, этих строгих блюстителей целомудрия и святости нравов языческой религии. Но желающих играть на сцене было много даже среди пожилых, а молодые парни кулаками стучали по столу, доказывая свое театральное призвание. Женщины и девушки еще не успели набраться смелости, поэтому женские роли исполняли парни, не имеющие надобности бриться. За билеты платили не деньгами, а натурой — яйцами. Предприимчивые руководители драматического кружка в обмен на яйца приобретали керосин.

Артисты на сцене старались всемерно «приблизиться» к жизни. Если в пьесе были картины выпивки, то пили настоящий едкий самогон и ругались натурально, не обращая внимания на то, что подсказывает суфлер. В антирелигиозных пьесах артист, исполняющий роль попа, выходил на сцену в подлинном поповском одеянии. Сельский священник Владимир Андреевич Петров с поклоном отпущал из церкви ризы, а сам был неизменным суфлером, прятался в своей будке. Конечно, об этом знали артисты, но необыкновенный факт держался в глубокой тайне. Милейший и корректный человек, не знавший в жизни вкуса спиртного, по воле судьбы принявший сан служителя церкви, в те годы выступал перед населением с лекциями о происхождении мира. Потом остригся, стал одним из первых и активных работников потребительской кооперации в Белебеевском контоне.

Памятными остались для меня годы ученья в начальной школе. О чернилах в на-

стоящем смысле этого слова мы не имели понятия. Их готовили из сока, выжатого из ягод, растущих как болезненные нарывы на листьях дуба (их чуваши называют дубовыми чирьями). Карандаши делали из кленовых палочек. Выдалбливали сердцевину и туда наливали расплавленное олово. Писать таким карандашом на желтой оберточной бумаге было трудно, до боли уставали пальцы, и на них появлялись мозоли. Тем не менее я, увлекшись театром, решил сочинить пьесу.

Помнится первое действие. В бурную ночь, при свете луны, уминает семья и слышит, как какой-то дошлый старик проходит по улице с колотушкой, созывая на сход. Это я прочитал своему брату, комсомольцу. Он одобрил и на деньги, заработанные при очистке снежных заносов на железной дороге, купил мне тетради и карандаши.

Я никак не хотел марать слишком чистую бумагу, берег ее для какого-нибудь важного сочинения. Брат купил подарок и старшей сестре: ботинки с калошами. Она разостлала на скамье белый платок и по нему ходила в ботинках с калошами, а на улице грязь месила лаптями. Не раз мне приходилось видеть, как девушки в праздничные дни под весенним горячим солнцем щеголяли в блестящих калошах, а когда нагрянет дождь, снимали их и завертывали в платок. По грязи шли босиком.

Бижбулякская школа крестьянской молодежи, находившаяся в сорока верстах от нашей деревни, куда я поступил в 1925 году, была заведением интернатского типа, имела большой земельный участок. Туда стекались пешком и на лошадах чувашские дети со всех уголков Башкирии и Самарской губернии. Принимались также русские, украинцы, башкиры, татары и мордва. Приехавшие издалека и не имеющие возможности снимать угол ученики жили в одной огромной комнате. Мать привела меня сюда пешком, оставила мне маленькую подушку и обыкновенный мешок. В нем я и спал, мешок служил и одеялом, и матрацем.

Нас, малышей, в комнате было больше тридцати. И конечно, мы дрались и плакали, вновь мирились и по этому случаю угощали друг друга семечками и орехами. В этом своеобразном крестьянском лицее говорили на пяти языках. Но наши раздоры были обычные, не задевали друг у друга глубоко душевные национальные чувства. В первый же год ученья я, став секретарем пионерского отряда, чувствовал себя удивительно счастливым. Шутка ли сказать, в истории нашей семьи впервые именно я получил выборный пост.

К годовщине Октября я написал в стенную газету маленький очерк о том, как зимой 1919 года в нашем селе проходил бой между красными и белыми. Один из преподавателей, мой односельчанин Данила Васильевич, сказал:

- Попробуй писать стихами.
- Не умею.
- Читай Константина, своего родственника.

Я знал поэму «Нарспи», инсценировку ее не раз видел на сцене в своей деревне. В роли Нарспи выступала красивая, со жгучими черными волосами Агриппина Тимофеевна, жена Квинтилиана, родного брата поэта, работающая секретарем сельского Совета. По ее рекомендации, на которую она поставила круглую печать и свою подпись, я поступил в школу крестьянской молодежи.

Константин Иванов оставил превосходное описание реки Сильбы, на берегах которой я летом пахал землю и восхищался природой. Я подумал, что мне, секретарю пионерского отряда имени Буденного, не пристало увлекаться трелями жаворонков над знойным полем, а надо закатить стихотворение, где бы бушевал революционный дух. Лежа в своем теплом мешке, по ночам, когда спали товарищи, я лихорадочно шептал строчку за строчкой. Так родилось мое первое стихотворение под названием «В тюрьме», и появилось оно в 1926 году в стенной газете ко дню МОПРа. Описывался революционер, смотрящий через решетку на весеннее небо.

Поступив в школу четырнадцати лет, я еле объяснялся по-русски. А чувашские книги из библиотеки перечитывал много раз и с завистью смотрел на своих товарищей, понимающих толстые книги на русском языке. Система, выработанная еще до революции известным просветителем чувашей Яковлевым, близким другом И. Н. Ульянова, принимать в чувашские школы повышенного типа русских была благоприятна во всех отношениях и в школе крестьянской молодежи. Мы и дети других народов, ежеминутно общаясь с русскими товарищами, успешно овладевали русским языком. Русские в свою очередь изучали чувашский язык. Многие из них позже поступили в Уфимский педагогический техникум и стали учителями чувашских школ.

В школе через русские книги я переселился в большой мир, беседовал с Пушкиным и Лермонтовым, пел русские песни с Алексеем Кольцовым и Иваном Никитиным. А через некоторое время в нашей молодой библиотеке появился томик Некрасова. Правда, Некрасов на вид мне показался неказистым, а стихи не особенно звучными, но потом он стал моим любимым поэтом. Забегая вперед, мне хочется сказать, что Некрасов, ставший по своей глубокой связи с народом поистине Миколой Селяниновичем русской поэзии, для меня стал не поэтом горя и тоски, а певцом горячей веры в народную силу.

Прошло много времени. К новому году учащиеся были одеты с иголочки. Ходили мы, приводя в восторг местное население, в черных суконных шинелях и суконных

брюках, оставляли на дорогах и на тропинках следы от калош. В школе был литературный кружок. В нем занимались почти все учащиеся — писание стихов на манер народных песен стало для многих внутренней потребностью. Даже изложения иногда приобретали стихотворную форму и тем самым ставили в недоумение преподавателя словесности Семена Николаевича. Изложения, написанные стихами, как правило, получали оценки «неуд» или «уд», а прозаические — «вуд». Дело преподавателя словесности осложнялось еще и тем, что изложения составлялись на русском, чувашском, башкирском, татарском и мордовском языках. Каждый из нас писал по-своему, на своем языке.

В рукописном журнале «Сюлам» («Пламя») появлялись стихи сугубо серьезного содержания, воспевающие трактор и товарищество по совместной обработке земли. Авторы возмущались, что в деревнях гонят самогон, болеют трахомой. А на темы любви самими стихотворцами и редколлегией был наложен строжайший запрет. Учеников и учениц, уличенных во взаимной переписке и свиданиях, немедленно вызывали на заседание ученического комитета. Они должны были со слезами на глазах исповедоваться в своих амурных грехах и выслушивать строгое внушение, что в программу школы крестьянской молодежи входят только два раздела: учеба в классах и работа на пришкольном земельном участке. Свое стихотворство я вел в строгих рамках этой морали до весны 1928 года, пока не окончил школу. В своих стихах тему любви считал запретной, писал довольно длинную поэму «Борцы за свободу», где революционер, разрезав оконную раму напильником, легко удирает из тюрьмы.

Был в школе и драматический кружок. Роли молодых влюбленных играли преподаватели и преподавательницы, сотрудники и сотрудницы волостных учреждений. А роли ворчливых стариков и старух, обезобразив свои лица гримом, исполняли учащиеся. Когда я был на последнем курсе, мне выпал совершенно счастливый, но курьезный случай играть в пьесе А. Н. Островского «Бедность не порок» роль Мити. Перед преподавателем, руководителем репетиции, я в поте лица мужественно выдержал сцены объяснения в любви, но как только наступил кульминационный пункт, где надо было обнять свою однокурсницу Катю Тимофееву — Любушку, я убежал с первой же репетиции, как трус с поля боя. Но и после такого поражения мне не хотелось оставлять думу о сцене.

Счастье подвернулось. Артемий Дмитриев, бывший пастух, самый старший среди учащихся, ходил в лаптях и старом армячке, а добротное казанское обмундирование отправил домой. Просто не мог, видимо, привыкнуть к «изящной» одежде. По просьбе директора школы я написал о нем неедкую, добродетельную юмористическую пьесу, которая была поставлена на сцене в тот мо-

мент, когда происходила какая-то важная волостная конференция.

В 1928 году я поступил на подготовительное отделение Уфимского института народного образования. Там многие предметы, даже физика, велись на башкирском и татарском языках. И мне, хоть я и знал эти языки прилично, приходилось туго. Поэтому через год перешел на курсы по подготовке в институт, на которых учились преимущественно партийные и советские работники, а также демобилизованные из Красной Армии.

В Уфе предо мной открылся огромный книжный мир. В библиотеке школы крестьянской молодежи почти все книги были зачитаны мной до дыр, а на чтение каждой новой книги составлялся длинный список желающих. Там не было ни одной книги Льва Толстого, Белинского и многих других писателей и поэтов. Когда каким-то чудом появился томик Байрона «Лирика и сатира», я пошел к директору Ивану Александровичу Матвееву и, набравшись смелости, попросил подарить мне эту книгу. Чтобы отблагодарить его, я два или три дня колот дубовые дрова для школьной кухни. А здесь я, как во сне, стоял у высоких полок институтской библиотеки, каждый вечер сидел в читальном зале старинной аксаковской библиотеки и, вдруг почувствовав привязанность к живописи, посещал мастерскую художника Козлова. У него неизменно получал задание рисовать углем и мелом гипсовые фигуры и яблоки. А вечером в общезимити, когда все спали, садился писать стихи, изливая свою грусть по полевым просторам. Стихотворение «Полобил я вас, поля», написанное в 1928 году, на следующий год появилось в майском номере журнала «Сунтал», который издавался в Чебоксарах. Это было для меня великим праздником. Такого восторга я не переживал позднее даже в те моменты, когда выходили в свет мои романы и трагедии в стихах.

В Уфе я учился два года, подружился со многими башкирскими писателями, хорошо знал их произведения. Восторгался стихами Батыра Валидова о баймайских золотоносных горах, любил слушать гортанный голос Рашида Нигмати на студенческих вечерах. Сагит Агиз и Баязит Бикбай были моими близкими друзьями. На берегу реки Белой под голубым уфимским небом они читали мне стихи тонких мастеров Дертманда и Бабича и хрипло пели песни Салавата Юлаева.

Я часто бывал у Мажита Гифура в деревянном особняке на улице, ныне носящей его имя. Перед собой я видел скромного, хромого и на вид мужиковатого человека в черной тубетейке. Называл его просто, как принято в простонародии, Мажит-агай, слушал рассказы о берегах Демы, куда я ездил в гости к башкирам и пил кумыс. Пузатый медный самовар, видимо, тот самый, из которого пили крепкий чай Габдулла Тукай и Шейхзаде Бабич, своим кипением сопровождал беседы прославленного поэта со мной. Этот самовар, ничем не отличав-

шийся от других тульских, поил чаем многих татарских и башкирских поэтов и вошел, как символический образ, в стихотворение Хасана Туфана. И я в свою очередь в стихах, посвященных Мусе Джалилю, посвятил несколько строк этому самовару, из которого пил чай герой-поэт.

В августе 1930 года отец на станции Глуховской продал четырнадцать пудов гречихи. На эти деньги я выехал в Москву. В кармане лежало удостоверение сельского Совета о том, что я состою членом товарищества по совместной обработке земли, и направление Наркомпроса Башкирской АССР на литературный факультет Московского университета.

Наплыв на этот факультет был большой. При приеме неизбежно сохранялся твердый смысл поговорки «Москва слезам не верит». Когда все мои попытки стать студентом прославленного университета потерпели неудачу, я за помощью обратился в правление РАПП, где нашел надежного и рьяного защитника Михаила Юрина, рабочего поэта, бывшего шахтера. Отложив работу над книгой «Записки подававшего надежды» и служебные обязанности, чуткий человек вместе со мной целую неделю ходил к наркомпроу просвещения РСФСР, ректору университета, декану факультета, обивал пороги других учреждений. И с помощью отзывчивого русского друга я стал сверхштатным студентом, получил койку в общежитии на Варварке. Узнав, что из священной суммы денег, полученных за гречиху, остались жалкие гроши, Михаил Юрин, видимо, из своего личного «фонда», сделал мое материальное положение, как говорят, устойчивым до первой стипендии. Русские товарищи мне, как и многим другим национальным писателям, оказали дружескую поддержку. А она особенно нужна при первых робких шагах, когда человек вступает в большую жизнь.

На литературный факультет, созданный на основе брюсовских курсов, как в творческое учебное заведение, принимали молодых поэтов, прозаиков, критиков и литературоведов. Многие из них позже получили известность в русской литературе и в литературах народов Советского Союза. Слушая впервые лекции профессоров и академиков, я чувствовал себя в сказочном мире, и не верилось, что в лучшем университете учусь я, сын неграмотного чувашского крестьянина, который до революции не имел фамилии и был известен в селе как Гаврил. Не пропуская ни одной из встреч в университетском клубе со светилами науки, литературы и искусства, я с болью осознал свою, грубо говоря, дикость. После кратковременных курсов по подготовке в вуз я имел скудные гуманитарные познания. Серьезными науками считал математику и физику, да и те знал в пределах учебников Киселева и Цингера. Помнится, я слушал арию Ленского в исполнении Собинова, но так и не понял, почему считают Собинова великим певцом, и был в недоумении от того, что

он выступает в странном черном костюме с хвостиком.

В студенческом общежитии на Варварке жили молодые поэты. Они знали всю подноготную букинистического рынка, что расположился по Китайгородской стене напротив Политехнического музея. Помахивая руками и топя ногами, читали стихи Владимира Нарбута, Осипа Мандельштама и других неизвестных мне поэтов. Причисляли их чуть ли не к числу великих, восхищались строками, которые мне были непонятны. Когда один студент читал мне наизусть стихотворение Николая Гумилева «Шестое чувство», я краснел со стыда, и мне было обидно, что такие вещи печатаются на чистой бумаге. Но я боялся возразить и, стараясь показать себя перед ними не профаном, убрал со стола томики Лермонтова и Некрасова. Многие мои друзья по факультету старались примкнуть к какому-нибудь «изуму». В шумной комнате, где подчас споры доходили до рукопашной, зародилось и мое желание быть последователем какого-нибудь литературного течения. Я достал сборник Семена Кирсанова под громким названием «Слово предоставляется Кирсанову». Стихотворения, имеющие геометрические формы, мне очень, даже очень понравились. Понравились и строки со сложной рифмовкой.

Если вы были картавы,
Значит, знали муки рта вы.

Приняв такое речетворство за новизну, я попробовал сочинять по-кирсановски виртуозно, сносшибательно. Но вскоре, кажется, после беседы с Анатолием Тарасенковым, познакомился в университетской библиотеке с творчеством поэтов некрасовского времени — «искровцами», которые, особенно Минаев, владели каламбурами куда лучше, чем Кирсанов, и в мастерские строки вкладывали большой смысл. Таким образом, речетворцы, повторяющие дурные зады футуризма, выпали из сферы влияния на мое неокрепшее творчество. Однокурсник Александр Крацов, горячий парень из Луганска, лично знавший московских поэтов, доказывал мне преимущество конструктивизма перед другими течениями. Без промедления я прочел декларативные сборники конструктивистов «Бизнес» и «Госплан литературы». Не остался в стороне и своеобразный катехизис конструктивизма — книга Корнелия Зелинского «Поэзия, как смысл». Конструктивизм имел в своем составе крупных поэтов, но он по сути был построен на песке. Он сыграл известную роль в русской советской поэзии и имел некоторое влияние и на поэзию народов СССР, но быстро сошел со сцены, и не потому, что критики и поэты наносили по нему «Удар за ударом» (так назывался альманах под редакцией А. Безыменского), а сам собой рассеялся «как дым, как утренний туман». У меня лично он оставил в памяти только нарочито оригинальные сравнения, например, что

бровь машинистки похожа на подпись за-
директора, что поэт Владимир Луговской явля-
ется кентавром революции. Поэты моего
поколения искали что-то новое в литератур-
ных течениях не ради того, чтобы оторвать-
ся от народа, а ради того, чтобы перед на-
родом выступить ярко, вслед за Маяковским
повторяя:

Довольно жить законом,
Данным Адамом и Евой.

Соблазн быть удивительно оригиналь-
ным, овладел в тридцатых годах многими
поэтами, даже по характеру волевыми и це-
леустремленными. В университете я позна-
комился с Мусой Джалилем, студентом на-
шего же факультета. Мы с ним вечерами
часто гуляли по московским улицам. Я читал
ему на татарском языке стихи Габдуллы
Тукая, а он мне в ответ с пафосом отрыв-
ки из поэмы «Улялаевщина» Ильи Сель-
винского, признанного батькой конструк-
тивизма.

Мои увлечения формалистическими шко-
лами были кратковременными, но все-таки
ненадолго задержали творческий рост, ото-
рвав от той народной простоты, с которой
я начал свой путь. Первое появившееся в
печати стихотворение, написанное в 1928 го-
ду без мудрствования и формалистических
выкрутасов, обошло многие сборники, стало
популярной песней, а стихи 1931—1932 го-
дов я, за редким исключением, не вклю-
чаю в свои сборники. Таким образом,
в творческом пути остается большой про-
бел, как будто я находился в отпуске или
был на больничном бюллетене. Да, действи-
тельно, я некоторое время болел болезнью
формализма, стараясь в поте лица зариф-
мовать химические формулы, страдал и
опасной болезнью крикунства и риторики,
принимаемая за образец жаровские строки:

Ударим,
Ударим,
Ударим
Примером
Ударных бригад.

Приводя эту цитату, я отнюдь не соби-
раюсь бросить неблагодарный камень в
поэтический сад своего старого друга Алек-
сандра Жарова. Позднее опытный поэт,
автор народной поэмы «Гармонь», в тридца-
тые годы он, еще не имеющий «намека на
усы», не без воздействия критики стал чрез-
мерно крикливым.

Я много пишу о русской советской поэ-
зии не потому, что хочу блеснуть своим зна-
нием ее, а потому, что поэты национальнос-
тей всей советской земли выросли под ее
сильнейшим воздействием. Каждое яркое
имя, выдвинутое русской поэзией, своим
теплом согревает национальных поэтов и
без замедления находит своих приемников,
талантливых, посредственных, а также, ра-
зумеется, и эпигонов.

К сожалению, перегибы, которые были
в русской советской литературе в тридцатых

тых годах, особенно в критике, нашли свое
отражение и в национальных литературах,
а порой принимали чудовищно уродливые
формы. Так, например, некоторые чуваш-
ские критики во всей дореволюционной ли-
тературе видели только реакционное, а
основоположника чувашской литературы
Константина Иванова объявили кулацким
бардом. По утверждению этой грубой ниги-
листической критики, ивановская народная
форма стиха родилась в тот длительный
исторический момент, когда в утробе чуваш-
ского народа не было даже зачатия чуваш-
ского рабочего класса, значит, эта форма
мелкобуржуазная и поэтому реакционность
творчества Иванова не подлежит сомнению.
Выдвигнув такую критическую аксиому, они
без напряжения ума и чувашское народное
творчество считали устаревшим богатством,
проникнутым кулацкой идеологией. Чуваш-
ский язык, рожденный и оформленный мно-
говековой историей, когда не было чуваш-
ского рабочего класса, также мог быть
объявлен кулацким. Но на этот «подвиг» они
не решились, видимо, лишь потому, что
свои статьи писали на чувашском языке.

Перегибы, начатые налитпостовцами и
литфронттовцами, в той или иной форме
имели место не только в чувашской, но и в
других национальных литературах. Недаром
татарский поэт Хади Такташ в одном из своих
стихотворений, напечатанном, кажется, в са-
тирическом журнале «Чаян», от души радо-
вался, что милиционеры на казанских улицах
наводят порядок, и выразил желание, чтобы
они навели такой же надлежащий порядок
и в литературе, взяли под свою защиту поэ-
тов, на которых дубинами замахваются
критики.

Атмосфера, отравленная беспринципной
борьбой и раздорами между литературными
течениями и группами, коверкала моло-
дые кадры и тормозила их творчество. Поэ-
тому современной и исторической необхо-
димостью явилось постановление ЦК ВКП(б)
от 23 апреля 1932 года о перестройке ли-
тературно-художественных организаций. Оно
положило конец механическому и огульно-
му делению советских писателей на проле-
тарских, крестьянских и попутчиков, поста-
вило их на единую платформу, призвало
быть близкими народу, писать на том про-
стом языке, который понимает народ.

Литературный факультет, позже выде-
ленный в редакционно-издательский инсти-
тут, оставил у меня самые хорошие впечат-
ления. Здесь были собраны лучшие профес-
сорско-преподавательские силы по ли-
тературоведению, лингвистике и по другим гу-
манитарным наукам. Творческие семинары
вели выдающийся мастер слова Александр
Афиногенов, Николай Асеев, Федор Глад-
ков, Василий Казин, Леонид Леонов.

Во время учебы и позже я был сотруд-
ником чувашской центральной газеты «Ком-
мунар» в Москве. Как специальный кор-
респондент, ездил в промышленные районы,
где были чувашские рабочие. В 1933—1934
годах сотрудничал в редакция газет полит-

отделов машинно-тракторных станций Башкирии. По обязанности и велению души писал очерки, фельетоны и короткие заметки об успехах и недостатках в работе людей, которые позже стали героями моих стихов и поэм. Бесхитростные газетные материалы, рассчитанные на широкого читателя, вернули меня к простому языку, использованию народной речи, отказу от формалистической картвости, к учебе у классика чувашской литературы Константина Иванова и русских великих мастеров, и особенно близкого моей душе Некрасова. В ту пору, когда я работал в политотделах Приютовской и Бижбулякской МТС, родились сюжеты поэмы «Дед Кельбук» и романа в стихах «Перевал», которые, как утверждают критики, для моего творчества являются наиболее характерными.

В 1935 году я решил поехать в Башкирию, в свое родное село. Мне выпало истинное счастье пешком бродить по чудесным местам, которые в литературе многим известны как аксаковские, где пейзаж сам прорисован на бумагу. Я беседовал с отцом и его друзьями, любителями рассказывать случаи из сельской жизни, где для интереса были сочтены с небывальцами. Эти беседы для меня стали настоящей творческой лабораторией, я находил в них такие неожиданные лексические обороты и виртуозную игру слов, чего не встретить ни в книгах Велемира Хлебникова и сам не выдумаешь ни в какие минуты сильнейшего вдохновения. Тогда у меня зародился план написать книгу под названием «Сельская хроника». В нее должны были войти всякого рода события, происшедшие в одном селе в течение года.

На такую мысль натолкнули меня не поэты и критики, а навела случайная встреча с Мурзуком, обыкновенным крестьянином, который жил на улице Масаркасси (Кладбищенская улица). Как-то, сидя на белом оструганном бревне, он рассказал мне, как, считая действия местных начальников по какому-то делу несправедливыми, сел в поезд и поехал в Москву к всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинин. О белокаменной столице Мурзук рассказывал превосходно. Он, раньше побывавший только в заштатном городе Белебее и выдавший там чудо-технику — водокачку, подающую родниковую воду из-под земли прямо в ведро, в Москве ездил в метро и заблудился на шумных улицах.

Я написал стихотворение под названием «Рассказ деда Мурзука о поездке в Москву». Через несколько лет рассказывал Твардовскому о своем земляке, посетившем столицу.

— Может быть, у тебя есть стихотворение об этом?

— Есть.

Наспех сделанный подстрочный перевод Александру Трифоновичу понравился, и он передал его Борису Иринину. Тогда я его не знал, но через некоторое время у меня с ним установились теплые отношения как с другом и переводчиком. В его хорошем

переводе стихотворение было опубликовано в журнале «30 дней».

Живя в деревне, я отыскал, как говорят, золотую жилу народной поэзии, решил заняться ее тщательной разработкой и поэтому поступил в Башкирский научно-исследовательский институт языка и литературы. Здесь в огромном архиве, к моему счастью, имелись и материалы по истории и культуре чувашей. Мы с башкирским композитором Гебешу любил заводить маленький граммофончик и слушать чувашские песни, записанные на восковых валиках. Их было больше тысячи — большое духовное богатство.

Работая в институте, я подготовил в Уфе и впервые издал собрание сочинений Константина Иванова в одном томе, куда вошли многие ранее неизвестные произведения поэта. Продолжал работу над своими «Дедом Кельбуком» и «Перевалом», старался всемерно приблизиться к разговорному живому языку и той простоте, которая, на первый взгляд, наивна. Писать просто и доходчиво, но не снижаясь до примитивизма, труднее, чем писать, подбирая красивые звуки.

Часто наши критики, находя глубокую народную простоту в творчестве того или иного поэта, совершенно правильно утверждают, что он слитно связан с народом и знает народное песенное творчество. Однако они не замечают его учебы на произведениях многих поэтов (иногда и поэтов формалистического толка), потому что не находят в его стихах подражательных строк. Между тем поэты, пишущие самые простые по форме стихотворения, идут от сложного изучения науки о стихах, прекрасно знают формальные стороны таких поэтов, как Фет, Сюлли Прюдом, Верлен, Рембо. Эти же критики считают, что поэты учатся поэтическому мастерству только на образцах стихотворных произведений, на поисках удачных рифм, ассонансов и аллитераций; встают в своей исследовательской работе на формалистический, поэтому ущербный путь, пропускают мимо своих ушей и глаз огромное благотворное влияние умной и лаконичной прозы на поэзию. Они, например, серьезно говорят о влиянии Некрасова на творчество советских поэтов, но совершенно молчат о влиянии Льва Толстого. Я не могу жаловаться на свою память, но в ней не сохранилась ни одна статья на такую тему. И скажу честно: я не написал ни одного рассказа, но в поэтической службе многим обязан прозе Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, С. Т. Аксакова, М. Ю. Лермонтова.

Напрасны потуги критиков в тех несчастных случаях, когда они ищут в творчестве разбираемого ими поэта готовые строки, похожие на предложения тех или иных больших мастеров стиха и прозы.

Есть стихотворцы-рифмачи, есть поэты-творцы. Стихотворцы преимущественно питаются книгами, не имеют своей орбиты, выбирают одного крупного поэта и кружатся около него, как спутники.

Я навсегда запомнил мудрые слова И. С. Тургенева: «Из отрубленного, высохшего куска дерева можно выточить какую угодно фигуру; но уже не вырасти на том суку свежему листу, не раскрыться на нем пахучему цветку, как ни согревай его солнце. Горе писателю, который захочет сделать из своего творения мертвую игрушку, которого соблазняет дешевый триумф виртуоза, дешевая власть над своим оплошным вдохновением».

Тургенев далее предупреждал, что произведение поэта не должно даваться ему легко, поэт не должен ускорять свое развитие к себе посторонними средствами. Он обязан свое творение выносить у своего сердца, как мать ребенка во чреве; собственная кровь должна струиться в его произведении, и эту животворную струю не может заменить ничто внесенное извне.

Чувашская народная мудрость гласит, что грач любит своего грачонка, хотя тот черный и горластый, а голосистого соловья не полюбят. Смысл этой поговорки состоит в том, что если грач будет подражать соловьиному пению, он не станет ни соловьем ни грачом, не будет принят ни в свою стаю, ни в чужую. Поэт-творец не живет по птичьим нравам, любит и других поэтов, ему чужда эгоцентричность, но он старается быть самим собой, золотые росы создает сам в себе, его каждое истинное произведение, может быть, порой и несовершенное, рождено его душой, пережито его сердцем, проверено его умом. Высокая, свирепая требовательность к себе (если это явится первым параграфом эстетического и морального катехизиса) перед поэтом-творцом обязательно откроет изумительный мир искусства.

Истинное произведение, как живое существо, должно иметь в своей структуре энное количество смысловых и языковых деталей, чтобы быть целостным и непротиворечивым так же, как организм, состоящий из определенного количества белков и витаминов. Если одних станет больше, чем нужно, организм болеет и погибает, а вода, если в ней водород или кислород превысит норму, перестает быть водой. Поэт, как никто, должен разбираться в жизненных деталях, писать о пенье соловьев, когда они именно поют, показать луну в тот момент, когда она появляется и вынуждена появиться по закону вселенной, а не по желанию поэта и его редактора.

Когда поэт, перестав быть в настоящем смысле этого слова поэтом, становится беспечным и не изучает объект, выбранный им для описания, то он иногда выполняет роль того самого сказочного героя, который на шумных свадьбах от горя плачет, а на печальных похоронах от веселья пляшет. В таком трагикомическом положении, когда потеряно чувство времени и долга перед читателем, сочинитель становится нужным только себе.

Моей великой наставницей всегда оставалась мать-земля. Мне и в Москве по но-

чам снились журчащие родники сильбидских гор, описанные Константином Ивановым в поэме «Нарспи». И в годы, когда рапповские критики почти всех, кто пишет о деревне, с презрением называли крестьянскими писателями, земля осталась главной темой моей поэзии. Я перечитывал «Сельские поэмы» Вергилия, мне нравились там картины земной цветущей тишины, хотя эта идиллия не могла ласкать мой слух. Но это была истинная поэзия, и она оберегала меня от ложной риторики, присущей тогда многим поэтам, авторам песен и поэм о советской деревне. Произведения Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова учили меня любить землю во всем ее многообразии и широте.

Я часто приезжаю в деревню во все времена года. Люблю и свирепый бурян, и осенний проливной дождь, и летнюю жару, и цветущую весну. Мне приходилось встречаться со специалистами редкого тяжелого труда — колодезёроцами. Они уверяли, что со дня глубокого колодца в самый яркий солнечный день видны звезды. Поэт должен видеть многое, чего не замечают другие пытливые и добрые люди. Он обязан изо дня в день развивать и крепить все органы своего познания. Нет никакого сомнения, что поэтический талант не приобретается, а рождается, но нельзя быть кичливым, нельзя жить первыми и святыми детскими жизненными впечатлениями. Надо держать талант, как говорится, в спортивной форме.

Разумеется, после исторического постановления ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций я в своих поисках не чувствовал себя одиноким. Радовали меня стихи Михаила Исаковского, Александра Прокофьева, Бориса Корнилова, Павла Васильева. Однако крупного произведения на тему, над которой я работал, не было. Но мне казалось, что вот-вот появится колхозная поэма, смело соревнуясь с такими произведениями, как «Поднятая целина» Михаила Шолохова, «Бруски» Федора Панферова, «Стальные ребра» Ивана Макарова. Наконец в одном из номеров «Литературной газеты», кажется, на третьей странице я прочитал отрывок из поэмы совершенно неизвестного мне Александра Твардовского, а через некоторое время в журнале «Красная новь» вышла и сама «Страна Муравия».

Поэма Твардовского играла красками искрометного русского языка, была выдержана от начала до конца в рамках традиционного стихосложения. Такую поэму давно ждал читатель, ему надоели игры в бирюльки некоторых декадентствующих поэтов. Поэма Твардовского «Страна Муравия» родилась в борьбе против пустых риторических стихов и поэм о колхозной деревне, авторы которых в вопросах сельского хозяйства разбирались не лучше некрасовского Оболта Оболдуева, не умеющего отличить рожь от ячменя. Они кичились, что в своих творческих планах встали лицом к